

ДАЛЕКОЕ **БЛИЗКОЕ**

Семен Лунгин

ТЕНИ НА АСФАЛЬТЕ

Все долгие последние годы моей жизни и особенно теперь я постоянно перебираю в памяти все, что связано с Виктором Некрасовым, с первых мгновений знакомства, с самого начала нашей редкостной дружбы, как говорили в доброе старое время, дружбы домами. Я знал его большую половину моей жизни. Наш дом на Калининском стал очень скоро его московским домом. А мы гостевали у них в Пассаже, в Киеве, а потом, после его изгнания, в Париже, на пляс Кеннеди 3, главным образом, когда его домочадцы бывали в отъезде.

Поэтому пусть никого не удивляет, что я пишу эту историю, употребляя прямую речь, словно бы сочиняя. Мы с Некрасовым столько раз проговаривали ее, как всегда, перебивая друг друга, проигрывали, развлекая наших гостей, а мы очень любили изображать разные сценки и разных людей, и друзья наши могут подтвердить, что я верен здесь не только духу событий, но и их букве.

Нас очень всегда радовал этот наш маленький "театрик для себя" и когда мы валяли дурака, пародируя что-то, и когда в трусах, перед большим зеркалом у нас в передней напрягали "ну так не самые могучие мышцы" и втягивали животы, изображая стройных циркачей-силачей. Господи, до чего же нам бывало весело вдвоем и безо всяких "ста грамм"! ..

Все наши совместные истории от многих повторений становились своего рода "устными рассказами", и сейчас, в горькое время сиротства, когда он покинул нас, я решил вспомнить, как произошло наше знакомство. Все, что тут написано — правда, и если есть погрешности, то только в том или другом выражении, но не в их смысле.

Итак, мы познакомились в сорок девятом.

По стране, набирая силу, гулял "космополитизм". И меня этот морок тоже захлестнул своей удавкой. В те годы я преподавал в МГТУ — городском театральном училище, ставил первое действие "Снегурочки" с третьекурсницами. Получалось довольно мило. Однако, после зимнего просмотра на педсовете один народный артист по фамилии Свободин, числящийся тогда во МХАТе, сказал — я очень хорошо запомнил не только его слова, но и интонацию, с которой они были произнесены, и "охотнорядское" выражение его лица, — "Весьма сомнительно, что педагог... как его... Луг... нин, что ли, сможет научить наших студентов вольному русскому стилю Островского"... И никто из моих коллег, тоже преподающих мастерство актера, представьте себе, ни единий человек из тех, кто видел мои работы уже не первый год и нахваливал за них и меня, и моих ребят, не возмутился, а все прочно стиснули губы и принялись изучать свои пальцы. А ведь мы должны были постепенно перейти от первого действия ко второму и далее сыграть всю пьесу как дипломный спектакль. Увы, смолчал и я.

В моей жизни было два явных случая, когда я так постыдно промолчал, что до сих пор содрогаюсь от гнева на себя и презрения к себе. Вот этот — один из них. Первый. А второй, если хотите, когда моего старшего сына выгнали из школы. Из седьмого класса. За то, что он развесил на доске и по стенам превосходные репродукции импрессионистов. Растлевал детей буржуазным влиянием. А это было в то время более чем серьезное обвинение. Школа-то привилегированная, с французским языком, тогда еще единственная в Москве. Директор просил меня сдерживаться и молчать. И все будет — в порядке... А на кой ляд мне нужен был их "порядок"?.. "Порядок", который я ненавидел. Ух, как они мучили мальчишку... Как эти отвратительные упыри, выхваляясь друг перед другом, клочьями рвали с него кожу... А сын глядел на меня испуган-

но и не понимал, что со мной случилось, почему я молчу, словно завороженный, и не защищаю его, когда надо было "психануть"... Наверное он и до сих пор этого не понимает... Вот – второй случай. А написал я о нем только потому, чтобы сбросить с души тяжкий груз. Да вряд ли удалось...

Итак, с Некрасовым мы познакомились весной 1949 года...

А черная волна накатывалась все круче, все шире разливалась и, наконец, добралась до театра Станиславского, где я тогда работал.

Как-то меня вызвали в директорский кабинет и объявили (я ждал этого и все думал, как они мне скажут? А все вышло очень просто), что отныне должность моя упраздняется и я могу убираться на все четыре стороны. И дело тут исключительно в простом сокращении штатов и ни о чем другом я, естественно, не должен думать. Но, если я хочу дождаться лучших времен, хотя они едва ли предвидятся, то меня хоть сейчас могут оформить рабочим сцены, причем не формально, а по существу – устанавливать декорации. Правда, в свободные часы, сверх того – если я готов заниматься текущими делами: вводить новых исполнителей на роли, следить за состоянием спектаклей и прочее – то в такой подсобной режиссуре мне отказа не будет, конечно, не афишируя это, и без дополнительной оплаты. Короче, в профессиональном значении жизнь моя становилась вполне бессмысленной.

Вот как раз в эти-то дни я и познакомился с Виктором Платоновичем...

Однажды в расписании объявили, что тогда-то с 15 до 17.30 состоится читка новой пьесы "Опасный путь" лауреата Сталинской премии Виктора Некрасова. Читает автор. Это было новое имя. В среде драматургов я о нем еще не слышал и ничего из созданного им не читал.

Мы закончили репетицию ровно в три и поднялись в верхнее фойе. Там уже собралось много народа. Мебельщики поспешно расставляли стулья из разных спектаклей, сдвигали банкетки. Скоро все расселись, еще переговариваясь, но постепенно затихая, готовясь слушать.

Все с любопытством поглядывали на автора, очень (во всяком случае, на первый взгляд) моложавого человека, который в это время как раз снимал пиджачок и аккуратно умащивал его на спинке стула.

Из актерских негромких разговоров я узнал, что кое-кто из старых студийцев еще довоенного "разлива" его помнит. Он, вроде бы, приходил на Леонтьевский прослушиваться к Станиславскому, но не прошел. И еще говорили, что он будто бы последний, кого Константин Сергеевич экзаменовал лично.

"Старики" стали ему кивать, как знакомому. Он отвечал на кивки, словно тоже кого-то вспоминая. Во всяком случае, в его колючих глазах вдруг вспыхнул какой-то "узнавательный" огонек.

— Вы сами объявиете, — осведомилась директриса и, спрятавшись по бумажке, добавила, — Виктор Платонович?

— Сам... Спасибо, сам, — весьма деликатно, но определенно сказал он, расстегивая третью пуговку клетчатой ковбойки. И теперь его загорелая грудь была видна чуть ли не до пупа. Чуть-чуть присвистывая на "с", он стал говорить о том, что пьеса эта лежала в личности МХАТа лет сто, если не больше. Ее улучшали, шлифовали, насиливали все, кому не лень, и довели, видимо, — тут он криво усмехнулся в свои тоненькие пижонские усыки, — вот до этого совершенства, — и он поднял папку. Короче, того первого моего варианта, который хотелось бы вам прочитать, здесь нет, есть, правда, дома, в Киеве, но кто же знал?.. Значит, либо отложить, либо читать то, что есть, но за этот текст автор ответа не несет. Как обществу, — он так и сказал: "обществу", — будет угодно...

Обществу было угодно слушать, все сидящие загудели.

А я все еще стоял. Он тоже еще не сел. И помнится, что мы зафиксировали друг друга этакими нейтральными взглядами и уселись каждый на свой стул.

— Во-первых, — как-то торопливо сказал Некрасов и пожал плечами, — тут почему-то написано — "Опасный путь", а не "Испытанье", как было всегда... Видите, мои испытанья уже начались. Ладно, пошли...

И он принялся читать. Неспеша. Внятно. Вроде бы поставленным голосом, во всяком случае, громче, нежели говорил. Он старательно играл за всех действующих лиц, менял голос, акцентировал наиболее важные места. Он читал, часто отрывая глаза от строчек, и проверял, какое впечатление производит его чтение. Я понимал, что этими нехитрыми уловками он рассчитывает вернуть тексту его первоначальный смысл, интонацию и колорит. Выглядел этот "драмкружок" довольно обая-

тельно, что вполне соответствовало некрасовскому облику, особенно в те миги, когда его брови вдруг лезли на лоб и глаза выражали прямо детское удивление по поводу очередной нелепости в прочитанной им фразе. Как он огорчался, хоть вида и не показывал!.. Но я отчетливо слышал, как скрежещет его душа от этих нежданых и незаслуженных обид. Я, пожалуй, никогда потом не видел у него такого расстроенного взгляда... У него всегда хватало юмора одолевать всякую гадость.

— Почему ты не бросил читать? — спросил я его уже много лет спустя.

— А! — с нарочитой киевской ужимкой выдохнул Некрасов и махнул рукой.

... Наконец, добрался он до конца пьесы, с чувством, близким к отвращению, захлопнул папку и тщательно завязал тесемку. Раздались традиционные бессмысленные аплодисменты, на которые появилась директриса.

— Ну, кто желает выступить? — бодро воскликнула она на ходу.

Началась обычная вялая толковня со всеми полагающимися словесными атрибутами: "Новая тема... Явление, схваченное врасплох... В самом зародыше... А что, так действительно было?.. Появление нового героя... Какой же он герой?.. Обогащение драматургического фона... Эгоизм и стяжательство как побочный результат войны... Я не думаю, что такое бывает... Нет, бывает!.. Бывает..." Ну и так далее. Дошла очередь до меня.

Мне пьеса не понравилась. Мне показалось, что все в ней очень задано, что заранее предвидится конец, что кроме постановки вопроса в ней нет ничего неожиданного, но что этого и самого по себе было немало, если бы... Короче, пьеса, на мой взгляд, требовала усилий не столько редакционных, сколько композиционных, конструктивных... Не пойму, но что-то меня злило в этой пьесе, и если бы я не думал, что карьера рабочего сцены от меня все-таки не уйдет даже в самые распро垦омополитические времена, то я бы и не стал выступать, да и автор, как теперь говорят, мне не показался, что-то снобское слышалось в его подчеркнуто-киевской манере говорить, да к тому же расстегнутая до ремня рубаха и густая гривка черных волос, как бы накинутая на покатый морщинистый лоб, тоже не радовали глаз. Эдакий перезрелый пацан с днепровского

пляжа! Все в нем было не по мне, даже то, что под закатанным по локоть рукавом виднелся глубокий рубец — след от, видимо, ужасного ранения... Вроде бы в доказательство чего-то, что и без того известно. В общем, не понравился он, и все тут.

Я поднялся и сказал, что мне, к сожалению, не близок такой тип драматургии, что я предпочитаю пьесы, где меньше "быта" и "текущих" разговоров и что мне всегда бывает неприятно подглядывать жизнь персонажей, так сказать, сквозь замочную скважину — эту фразу он никогда не мог мне простить и даже много лет спустя по всяческому поводу говорил: "так как же, через замочную скважину, а вот?..", ну и так далее...

Его лицо, и так темное от загара, потемнело еще больше, стало злым. Кожа на скулах натянулась, но он ничего не сказал в ответ, только поглядел на меня с неприязнью, учтиво поклонился всем, благодаря за обсуждение, и ушел в сопровождении директрисы.

На этом, собственно, и могла бы закончиться эта история, если бы не одно абсолютно непредвиденное обстоятельство.

Через какое-то время меня вызвали в дирекцию и сказали, что возникла необходимость чуть ли не с завтрашнего дня начать работу с актерами над новой пьесой "Опасный путь". Подписывать афишу будет тогдашний начальник Управления театров, он же и выпустит спектакль как постановщик, а всю предварительную работу надлежит проделать мне.

— А монтировочная часть?

Одно другого не касается, — был ответ.

— Но как же?

— Очень просто, — произнесла директриса жестко. — Не хотите, как хотите. Назначим другого, кого-нибудь из артистов, только и всего.

— Ясно, — сказал я. — А то, что я так поливал пьесу?..

Значит, вы знаете ее изъяны и поможете их исправить.

Как волк в загоне — куда не повернись — смерть!

— Постановщиком, — продолжала она, — руководить вами будет имярек, сам начальник Управления. Вашу кандидатуру мы уже обговорили с ним, и он дал согласие... Мало ли как потом повернутся дела...

О, воистину неисповедимы начальственные пути!.. Откровенно говоря, я тогда даже не мог сосредоточиться, чтобы по-

нять, во благо мне все это или во зло. Ясно было, что меня еще на какое-то время оставляют в театре, и я согласился.

Много лет спустя, когда я уже стал профессиональным сценаристом, я в студийном коридоре нежданно-негаданно столкнулся нос к носу с моим тогдашним постановщиком. Слухи о его крушении уже давно долетели до меня, и я знал, что жизнь его покатилась по печальной колее. В конце концов его наняли консультантом в студийный парткабинет. Выглядел он удручающе изможденным. Видно, какая-то злобная хворь точила его... С тех пор мы частенько встречались на "Мосфильме", и всякий раз он кидался ко мне как к родному, чуть ли не с объятиями, тормошил меня, теребил, всячески высказывая свое расположение. "А помнишь?.. А помнишь?.. — восклицал он, припоминая какую-нибудь театральную мелочь тех лет...

Уж мне-то не помнить?.. Я по минутам помнил тот каннибальский, звериный пятидесятый год... А вот помнил ли он, бывший начальник управления, что-либо, кроме всех этих пустяков?.. Что таилось за его ставшими такими плывущими и тусклыми глазами?..

— Приходи ко мне в кабинет, — десятилетиями выработанным тоном говорил он, забывая при этом добавлять слово "парт", парткабинет.

Да, знаменитая притча о колесе не потеряла смысла и в наше просвещенное время. Вспоминаете, что ответил победителю-фараону плененный царь соседней земли, которого тот вдобавок, для пущего унижения, еще и впряжен в свою колесницу вместо коня?

— О чем ты задумался? — спросил царя фараон.

— О колесе, — ответил пленник. — Та его часть, что сверкает на солнце, вскоре утонет в дорожной грязи, а та, что сейчас погружена в грязь, — снова засверкает на солнце...

А после того разговора в дирекции был вывешен приказ о начале моей работы над пьесой лауреата Сталинской премии В.Некрасова "Опасный путь". Постановщик имярек. Режиссер — я.

Я пришел домой и в тот же вечер написал в Киев открытку такого содержания:

"Глубокоуважаемый Виктор Платонович!

Волею случая я назначен режиссером на Вашу пьесу... Благоволите сообщить, когда Вы предполагаете приехать в Москву и уделить мне некоторое время для работы над текстом. С глубоким уважением" и т.д.

Мне кажется, что через неделю, не больше, я вынул из почтового ящика открытку с киевским штампом. Я ее хорошо запомнил — написанную крупными, круглыми буквами, которые я потом узнавал с расстояния в несколько метров:

“Глубокоуважаемый Семен Львович!

Я приеду в Москву такого-то и буду рад встрече с Вами. Но только не для работы над текстом, который мне остоеб. Бог с ним! Может, хватит? Уже поработали над ним всласть... С глубочайшим уважением” и т.д.

Ну, подумал я, это будет трудный случай. Но хоть его открытка и обидно-откровенно пародировала мою, которая, к слову сказать, заслуживала этого, но была информативна и, главное, четко определяла наши позиции. Ладно, поглядим...

Как-то рано утром мне позвонили из театра и сказали, что автор приехал и бродит по фойе. Репетиции еще не начались, театр был пуст, только секретарша сидела уже на месте. Я помчался на Сретенку и заметался по лестницам — театр же в подвалном помещении — бывшая студия Завадского, Каверина... Моего автора нигде не было.

— Он небось во дворе, — сказал мне дежурный пожарный.
Я кинулся во двор.

Некрасов и вправду стоял на залитом асфальтом дворе и курил папиросу, разглядывая отвесную стену многоэтажного дома над театром.

— Здравствуйте, Виктор Платонович, — сказал я, задыхаясь от бега.

— Здравствуйте, Семен Львович, — сказал он, затянувшись “беломором”.

Он цепко всматривался в меня, потом ухмыльнулся:

— Значит, автор подглядывает жизнь в замочную скважину? А как же увидеть настоящую жизнь, если ее вам не показывают? А, хлопчик?

И что-то такое презрительное было в этом “хлопчике”. Что-то такое неприязненное... Я никогда потом не слышал, чтобы он к кому-нибудь так обращался. И, откровенно говоря, не мог простить ему этого “хлопчика”.

— Пойдемте, — указал я ему на ворота, ведущие на сцену.

Мы прошли через сцену. Посредине горела дежурная лампочка на штативе... В щели дверей сочился в партер тускло-зеленоватый, профильтрованный тьмой фойе и коридоров, откуда-то сверху проникший в театр уличный свет. Подвальный дух стоял в плохо проветриваемом низком зальчике.

— Это что, — спросил Некрасов, спрыгивая со сцены в проход, — здесь начинал Завадский? Я же до войны тут... Ну это знаменитое, с Мордвиновым... Тыфу, черт, как его?.. Шоу!

— Да, — сказал я, — "Ученик дьявола".

— Не знаю, — вдруг продолжил он, — понравился бы мне сейчас этот "Ученик дьявола". Сомнительно...

— Почему? — спросил я. — Говорят, был блестящий, настоящий театр.

— Игры было много... — он подумал и добавил: — Всякой "хуйни-муйни"...

Вот так у нас и начался разговор, как теперь говорят, "по делу"...

А тем временем мы дошли до фойе, в котором обычно репетировали. Оно было наполнено серым пыльным воздухом, и пылинки явственно стояли в плоских зеленоватых лучах, перезающих густой, неподвижный воздух.

— Мы что, здесь будем говорить? — спросил Некрасов и почесался.

— Можно зажечь свет. Или пойдемте в дирекцию. Или туда, где вы читали пьесу...

— Но там же проходной двор. Может быть, пойдем куданибудь? — глянул он на меня хитрым глазом.

— А куда?

— На рю де ля Пэ.

— Куда? — переспросил я.

— Моя машинистка там живет и пускает нас с мамой, когда мы приезжаем в Москву. Там и переулок тихий. Плотников.

— На Арбате? Где Диэтический магазин? Так я же живу в пяти минутах ходьбы. Угол улицы Чайковского и Кутузовского проспекта.

— Это где курортология?

— Все знает! — засмеялся я. — Как раз напротив.

— Туда моих друзей пацан в садик ходит... Пошли?..

— Ко мне? — спросил я, не уверенный, что у нас дома все в порядке.

— А куда же?
И мы пошли.

В те годы многое случалось гораздо проще, чем теперь. А может быть, так кажется? Нет, на самом деле. Ну, скажем, пивные. Они были прямо-таки за каждым углом и безо всякой толчеи и скандалов. "Полуторка с прицепом" — это из тех времён, а означало, для несведущих, сто пятьдесят граммов — полуторка и кружка пива — прицеп. Мы уже прошли было мимо одной такой забегаловки, как Виктор Платонович остановился, весьма лукаво, иначе не назовешь, поглядел на меня — о, этот взгляд сопровождал меня все почти сорок лет нашей дружбы! — и кивнул в сторону пивнушки. Я повернулся кру-гом! и послушно пошел вслед за ним.

Сказочный запах разливного московского пива, который я уже так долго не вдыхал. Мы взяли всего по пятьдесят граммов и по кружечке.

— Дурацкая была идея разговаривать у вашей директорши, — сказал он. — Только это и хотелось! Скажите, вам всегда приходят в голову такие правильные мысли? — Он взял граненый стаканчик. — Ну, давайте знакомиться, — сказал он, — Вика...

— Сима, — сказал я.

— Это что же, от Симон?

— Нет, Семен... Моя нянька была помешана на Серфиме Саровском... И так все привыкли... Скажите, как вы вытерпели всю эту мхатовскую волынку?

— Во-первых, из почтения. По этим коридорам... На этих стульях... Объектив фотоаппарата глядел на того, кого снимал — вот его портрет... Шутка сказать!.. Потом Павел Александрович Марков... Любезные разговоры за жизнь... Не угодно ли стаканчик чайку?.. Ебал я этот чаек!.. Борис Ильич Вершилов: Я обнаружил вас в "Окопах Сталинграда", как в свое время "Дни Турбинных" в "Белой гвардии"... солидно... Все неспешно... А во-вторых — гордыня! Гордыня одолела — лучший театр должен ставить лучшего писателя... А как же! Разве не так?.. Всем ли вы довольны?.. Все ли у вас в порядке?.. Сердечный привет вашим домашним... Надеюсь, все в добром здравии? Мы вам тут же пошлем телеграмму...

Изображая мхатовских мастеров, он изгибался в талии,

шаркал ножкой, говорил медовым голосом, все это проделывал очень смешно, не обращая внимания, что на него смотрят стоящие поблизости и хохочут так же, как и я. А я так просто заходился от смеха. Это было как раз то самое, что я любил, да и теперь люблю больше всего на свете — такую роскошную импровизацию! Мы допили пиво и двинулись дальше к Сретенским воротам, чтобы потом, пройдя по Лубянке, войти в метро "Дзержинская" и ехать к нам. Но тут, как раз за углом какого-то переулка, появилась новая "забегаловка" — дощатое строение, по периметру стен которого изнутри шла полочка из кружек, полных и пустых. Мы взяли по кружечке и только устроились, стоя друг против друга, подняли их к губам, как вдруг некто, тоже стоящий с кружкой в руке и, как я заметил, не спускавший с Некрасова глаз, тронул меня за плечо.

— Отойдем, кореш, — сказал он тихо и отвел меня на несколько шагов в сторону. — Это писатель с тобой?

Я кивнул.

— Который в окопах Сталинграда?

Я снова кивнул. И спросил:

— А откуда вы его знаете?

— В газете снимок видел. Я его по усам узнал.

— По усам только товарища Сталина узнают, — сказал Некрасов, подходя к нам. — Не помешаю?

— Вот товарищ узнал вас по газете, — сказал я.

— Где воевал? — деловито спросил Некрасов.

— Третий Украинский, — ответил незнакомец. — Очень рад, что тебя увидел. Ну, я пошел... — заторопился он. — Желаю успехов... Слушай, а капитан этот... как его?

— Керженцев?

— Это ты?

— Более ни менее.

— Я так и подумал. Жалко, что не вместе воевали.

— Но ты же на Третьем Украинском.

— Вот я и говорю — жалко. Ну, здравия желаю...

— Э-э-э! — воскликнул Некрасов. — Куда? А свои сто грамм? Пойди, возьми, — и протянул мне десятку.

Он впервые обратился ко мне на "ты".

— У меня есть.

— Делайте, что говорят, — приказал он непререкаемо.

— Так точно! — сказал я, подхватывая игру...

Когда я принес от стойки три граненых стакана, обхватив их двумя ладонями, и поставил на мокрую от пивной пены полку, они о чем-то увлеченно говорили.

— И у меня локтевой сустав разбит, — сказал новый знакомый. — Видишь, не сгибается. Кон-трак-тура. Мне было приказано разрабатывать, а я думаю: хрен с ней... — и он махнул сгибающейся левой рукой. — На мой век хватит. У меня же пулевое сквозное, в левом дырка.

— И зря... Я разрабатывал, — сказал Некрасов. — Мне велили делать мелкие-мелкие движения пальцами все время, пока не сплю, делать мелкие движения... Вот я и стал писать, в госпитале, лежа, карандашом. Ну, давайте со знакомством. Ты кто? Майор?

— Капитан.

— И я капитан. Будь здоров, капитан. Я очень рад, что мы повстречались.

— Вы уж простите, что я в вашу компанию...

— Не свисти, капитан. Ну, давайте!..

Мы, запрокинув головы, выпили до дна. Потом он попрощался и ушел.

— Бывает же такое? — сказал Некрасов, он был явно доволен. — Слушайте, Сима, пошли еще в какую-нибудь тошниловку, — вдруг еще кого-нибудь встретим...

Хотите верьте, хотите нет, но все было так.

— Знаете, эта сцена, как из пьесы Арбузова, — сказал я.

— Это — жизнь, молодой человек, словно сквозь замочную скважину...

— Да будет вам, — сказал я и мы вышли на улицу. — Забудьте.

Мы деловито шли по Лубянке, мимо "Стрелы" — закрытого распределителя НКВД, мимо московского управления в прекрасном особняке, за фигурным забором, хотели было свернуть на Кузнецкий, но двинулись к метро. "Детского мира" еще не было, был еще Лубянский пассаж, и отличный ресторанчик в подвале, на углу Рождественки. Туда мы не пошли, а перебежали на другую сторону, к метро "Дзержинская". Там, в угловом доме, тогда был продовольственный магазин. Мы переглянулись и вошли.

Боже, как иногда ярко запоминаются отдельные, вроде

бы несущественные сценки многолетней давности. Я терпеть не могу словосочетания "как сейчас помню", но я действительно сейчас вспомнил, как он сказал: "Можно, я куплю поллитра?" Как я полез в карман. Как он произнес: "Разрешите, я приду в ваш дом с бутылкой?" Как я в ответ сказал: "Тогда я куплю закуску". Как он кивнул и показал на окно: "Встречаемся тут"...

Мы вышли из магазина и двинулись к метро. Солнце было нам в спину, и на тротуаре четкими силуэтами чернели наши тени. Две, примерно одного роста. И я подумал: вот мы идем вдвоем, как шли, наверно, Станиславский и Немирович-Данченко, как раз оттуда, из "Славянского базара", после того исторического разговора... И так же их тени рисовались на тротуаре, только одна высокая, в шляпе, другая сильно пониже, тоже в шляпе. А у нас не было шляп, и ветер, задувавший вдоль Никольской, вздыбливал наши волосы, и на черных тенях было видно, как поднимаются черные прядки...

Дома никого не было.

— Здорово, что мы пошли не на Рю де ля Пэ, а сюда. Большая квартира, а там как-то все давит, — сказал он.

Мы расставили бутылки, их оказалось две, я принес тарелки, разложил колбасу и свежий хлеб.

— Отличный батончик, — сказал он, помял горбушку.

Откупорили одну. Я достал из буфета хрустальные рюмки. Он звякнул одной о другую — дзы-нь!

— Льем в фамильные хрустали, — сказал он. — Ну, Сима, значит какое-то время мы будем существовать, если не вместе, то рядом. А?

— Да, — сказал я, — если только меня не выпрут до этого "какого-то времени".

И я рассказал ему про мои дела.

Он покривился, как тогда на обсуждении пьесы, после моего выступления.

— Ну, что за тра-та-та-та! — воскликнул он. — Что за мерзость!.. Эvreев они не любят, сволочи! Что вы им все глаза мозолите? Давайте...

Мы выпили по первой. Потом я стал рассказывать ему про пьесу. Как по-моему надо ее ставить. Какое оформление. Что следовало бы уточнить, что убрать. Фантазия моя включи-

лась, я почувствовал себя свободным, особенно подхлестнул меня удивленно-заинтересованный взгляд, которым он на меня смотрел. Я вспоминаю эти минуты, как одни из счастливых в моей жизни. Стали говорить о том, про что пьеса. И тут вдруг словно с цепи сорвались и начали говорить, да что говорить — орать о нашей жизни, о том, что творится в стране... Мы кричали, не закрывая рта, перебивая друг друга, о том, как все это ужасно и с евреями, и с немцами Поволжья, и с крымскими татарами, и про весь этот кровавый маразм, что творился вокруг. В Киеве какой-то инженер повесился от ужаса, что его сошлют на Колыму, и всю его семью с ним, и старую маму... — Откуда вы знаете? — спросили его накануне смерти. — Ссылками всегда все кончалось, — ответил он, — а сейчас ими начинается... Где Короленко? — закричал вдруг Некрасов. — Где эти благородные русские интеллигенты, которые всегда говорили правду властям в глаза? Жалкие трусы, почему мы молчим? Неужели нас так запугали, что мы потеряли облик человеческий? Я смолчу, но мама моя не смолчит... Гады! Гады! — он произносил "гады". — Вот уж правда: "Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин..." Неважно куда, лишь бы в бой... На ту эврейскую старуху, так на старуху — в бой! А несчастный инженер удавился... Какой позор!.. А ему, — он показал на меня, — эту ебаную "Снегурочку" не дали ставить!.. Тра-та-та-та!.. Вольный русский стих!.. Короленко на них нету!.. Деградация вонючая!.. Ну, японский бог, где Короленко?..

В это время хлопнула дверь. Пришла Лилия. Она была на последнем месяце — носила Пашку — и с трудом таскала свое брюхо.

— Что вы орете, как полоумные, — сказала она. — На площадке все слышно.

— Вот это моя жена, Лилия, — сказал я. — А это Виктор Платонович Некрасов.

Он поднял руку и помахал ей. Лилия тоже махнула ему рукой и ушла.

— Твоя самка на сносях? Ну, хохмачи, нашли время рожать...

И снова он разразился гневной речью, обкладывая все и вся...

Тут раздался тихий лилин голос, она звала меня.

— Ты что, обезумел? — тихо волнуясь, сказала она. — А

если все это слышно? Если они подслушивают? Честное слово, это похоже на провокацию...

— Прекрати, — сказал я. — Это подтекст пьесы. Пойдем туда.

Я взял Лилю за руку и вывел ее в столовую.

Некрасов вроде бы разом отрезвел. Он улыбнулся и сказал тихо:

— Ваш муж гениальный режиссер!.. Он рассказывал мне, как надо ставить мое произведение. Лучше и не мечтаю... Это будет потрясающий спектакль. Выпейте глоточек... Нет, надо! Я лучше всех знаю, что надо, а что не надо... Пожалуйста, из моей рюмки, за нашу дружбу. Этот ваш носач мне очень нравится. Ну, чуть-чуть...

Лилия пригубила рюмку.

— И вы тоже... Такая пузатая, просто прелесть! Хорошая пара, честное, благородное слово... Знаете, возьмите меня третьим...

И мы взяли.

Взяли на все годы и были с ним во всех местах на земле, где нам приходилось вместе бывать. Взяли, когда ему было тридцать восемь, и расстались, когда ему исполнилось семьдесят шесть. Нашему старшему сыну Павлику, оказавшемуся в те дни в Париже, пришлось видеться с ним, уже страшно изнуренным болезнью, и гулять вдвоем по Латинскому кварталу, и провожать его домой в Ванв, и сиживать в кафе, где они неспеша потягивали пиво из высоких стаканов — "деми", как их называют официанты. И Женя, младший наш сын, он и сейчас живет в Париже, постоянно виделся с ним и развлекал, как мог. Только трудно было развлечь дядю Вику в эти дни... Накануне ужасного конца Павлик позвонил в госпиталь, где Вика лежал, и сказал, что приедет его навестить.

— Не надо, Пашка, — сказал ему в трубку Некрасов. — Чего тебе тащиться сюда, в такую даль. Завтра меня обещали отпустить. Встретимся, как всегда, на втором этаже "Монпарнаса", выпьем "деми" и потреплемся. А сейчас даже разговор с тобой меня не веселит... Пока...

А завтра уже не было. Не было "деми", ни "своих ста грамм", не было ни чудесных разговоров о том, о сем, не было его вопросов, что там, у нас в Союзе, у друзей, про которых он хотел знать все.

Он умер 3 сентября 1987 года под вечер, там же, в больнице, где и лежал. Исхудавший, с пергаментной кожей, сильно поседевший и с измученным страданием лицом, без желаний. Господи, как это выражение не шло его натуре. Он так хотел везде быть, все успеть, всех увидеть, все досмотреть до конца. И то, что у нас. И то, что у них...

Он похоронен в чужой могиле на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В чужой, потому что мест на этом русском кладбище уже давным-давно нет. И Галич лежит в чужой, и Тарковский — в чужой. Там под крестом маленькая табличка из белого мрамора, на которой золотом написано "Виктор Платонович Некрасов", а ниже по-французски: "Nekrasov". Дорожки на кладбище засыпаны мелким гравием. Он хрустит под ногами даже в дождь. И когда кто-нибудь идет туда, то слышно.

Да, а спектакль "Опасный путь" прошел бесславно, хотя в нем играли хорошие артисты. Евгений Леонов, Петр Глебов, покойный Борис Балакин, Татьяна Краснушкина, Екатерина Соколова, тоже покойная, — все еще молодые, одержимые. К сожалению, наш постановщик опять перекореживал пьесу, сокращал "левой ногой", выбрасывал важнейшие куски. Эх, да что говорить!

Потом автора вызывали на приемку спектакля. Да что за приемка, когда сам начальник — постановщик. Хозяин — барин. Потом спектакль. Публика хлопала, вызывала артистов, но на душе была тоска. Автор кланялся и с артистами, и один. Наконец, все разошлись и мы остались вдвоем, договорившись устроить банкет после следующего спектакля.

Мы вышли на улицу, дошли до телеграфа, послать телеграмму в Киев, Зинаиде Николаевне.

- Что написать?
- Что все в порядке.
- Я знаю, — сказал он.

И я через его плечо глядел, как он своими крупными, круглыми буквами выводит: "ПРЕМЬЕРА ПРОШЛА УСПЕХОМ".

Эта фраза стала у нас рабочим термином, и во всяких сомнительных ситуациях он, морщясь, говорил:

- Ну что, премьера прошла успехом, а, падла?..
- И хохотали.

Однажды в Париже, когда я в первый раз туда приехал, Некрасов повел меня в парк Монсюри, где он еще в локонах и платьице гулял с мамой и тетей Соней. Я видел эту старую фотографию.

И когда мы переходили улицу, чтобы войти в ворота парка, я увидел на асфальте наши две тени рядом, и по движениям плеч было ясно, что мы идем в ногу. Я помню наши тени на тропинках Коктебеля, на шоссе, когда мы гостили у Ивана Сергеевича Соколова-Микитова в Карабарово, в Киеве на Бабьем Яре, в Ленинграде, на Кировском у "Ленфильма", я приезжал к нему на съемки "Солдат", в Тулоне, когда выглядывало солнышко между короткими средиземноморскими ливнями... И я все думаю, неужели земля не впитала в себя наши тени, неужели она не запомнила их навсегда?

